



Меня зовут Ана. Я была женой Иисуса бен-Иосифа из Назарета. Я называла его «возлюбленный мой», а он, смеясь, называл меня «мой маленький гром». Он говорил, что, когда я сплю, внутри у меня раздается рокот наподобие громовых раскатов, которые доносятся из долины ручья Нахаль-Циппори или даже с другого берега Иордана. И я верю, что он и в самом деле слышал этот рокот. Всю мою жизнь в груди у меня теснились желания, бурля и стелая во тьме долгими ночами. Готовность супруга, с которым я делила скудное соломенное ложе, прильнуть ко мне душой и слушать говорила о доброте, которую я больше всего любила в нем. Потому что он слышал, как кричит моя душа, рвущаяся наружу.

## II

Мое свидетельство начнется с той ночи, когда на четырнадцатом году жизни родная тетка привела меня на плоскую крышу отцовского дома в Сепфорисе. С собой она захватила большой сверток, обернутый льняным полотном.

Я поднималась следом за ней по ступеням, не сводя глаз с таинственной поклажи, привязанной у нее за спиной, словно младенец, и не могла разгадать, что же спрятано внутри. Тетка довольно громко распевала еврейскую песню о лестнице Иакова, и я беспокоилась, что звук проникнет в дом сквозь узкие окна и разбудит мать. Она запретила мне лазать на крышу с Йолтой, опасаясь, что та заморочит мне голову всякими безрассудствами.

В отличие от прочих известных мне женщин, в том числе и моей матери, Йолта была образованна. Ее разум походил на бескрайнюю, не знающую страха страну, которой никто не положил предела. Она приехала к нам из Александрии четыре месяца назад по причинам, о которых в семье предпочитали не упоминать. Я не знала, что у моего отца есть сестра, пока однажды она не появилась на пороге, облаченная в простую тунику из некрашеного полотна. Ее тоненькая фигурка была преисполнена достоинства, в глазах затаился огонь. Отец не обнял Йолту. Так же поступила и моя мать. Тетке отвели комнату служанки, выходящую во дворик наверху. Мои расспросы

родители оставили без всякого ответа. Йолта также отказывалась удовлетворить мое любопытство:

— Твоей отец заставил меня поклясться, что я не стану говорить о своем прошлом. По его мнению, тебе лучше думать, что я свалилась вам на голову с неба на манер птичьего дерьма.

Мать называла речи Йолты нечестивыми, и тут я была с ней согласна. Уста моей тетки могли в любой момент извергнуть дерзость, от которой заходило сердце. За это я ее больше всего и любила.

Мы уже не в первый раз прокрадывались на крышу под покровом ночи, подальше от чужих глаз и ушей. Там мы сидели под открытым небом, тесно прижавшись друг к другу, и Йолта рассказывала мне о еврейских девушках из Александрии, которые писали на покрытых воском деревянных табличках, соединенных между собой, — я с трудом могла представить себе такое приспособление. Потом она переходила к историям о женщинах, которые возглавляли синагоги, учились вместе с философами, писали стихи и владели домами. Она рассказывала о египетских царицах. О женщинах-фараонах. О великих богинях.

И если лестница Иакова вела прямо в небо, то и нашей это было подвластно.

Йолте сравнялось всего сорок пять лет, но руки у нее уже становились узловатыми, теряя прежнюю форму. Щеки у тетки одрябли, а правое веко обвисло, словно головка поникшего цветка, однако она проворно карабкалась вверх по лестнице, словно грациозный паучок по своей паутине. Я смотрела, как она ловко перелезает через верхнюю перекладину, выбираясь на крышу, а сверток ходит ходуном у нее за спиной.

Мы уселись друг против друга на соломенном тюфяке. Шел первый день месяца *тишрей*, но несущие прохладу осенние

дожди еще не начались. Лунный свет венчал верхушки холмов маленькими кострами. Звезды тлеющими угольками усеяли высокое черное небо. Над городом витал аромат свежих лепешек и дыма от жаровен. Я горела желанием узнать, что же там, внутри загадочного свертка, но тетка молча смотрела вдаль, и я заставила себя подождать.

Мои собственные тайны лежали, сокрытые, в резном сундуке кедрового дерева, который стоял в углу моей комнаты: свитки папирусов, пергаменты и клочки шелка, сплошь покрытые строчками, выведенными моей рукой. Еще в сундуке хранились тростниковые перья, нож, чтобы их очинивать, кипарисовая доска для письма, сосуды с чернилами, пластина из слоновой кости и дорогие краски, которые отец принес из дворца. Сейчас они почти утратили былую яркость, но в день, когда я приоткрыла крышку сундука для Йолты, они сияли.

Мы молча рассматривали все это великолепие.

Тетка засунула руку в сундук и извлекла несколько пергаментов и папирусных свитков. Незадолго до ее приезда я начала записывать истории матриархов, о которых говорилось в Священном Писании. Если послушать раввинов, то единственными людьми, достойными упоминания, были Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф... Давид, Саул, Соломон... Моисей, Моисей и еще раз Моисей. Когда я наконец-то смогла прочесть священные книги сама, то обнаружила (вы не поверите!), что там и про женщин написано.

Пренебрежение, забвение — вот самая печальная доля. Я поклялась передать другим рассказы о свершениях женщин, восславить их подвиги, какими бы незначительными они ни были. Я решила стать летописцем утраченного. Именно такое безрассудство мать и не терпела во мне.

Когда я показала сундук Йолте, у меня были закончены истории Евы, Сары, Ревекки, Рахили, Лии, Зелфы, Валлы и Эсфири. Но оставалось еще много других рассказов — о Юдифи, Дине, Фамари, Мариам, Деворе, Руфи, Ханне, Вирсавии и Иезавели.

В напряжении, затаив дыхание, я наблюдала за тетей, которая изучала плоды моих усилий.

— Как я и думала, — просияла она. — Господь щедро одарил тебя.

Прямо вот так и сказала.

До этого момента я полагала себя существом разве что несуразным, этакой ошибкой природы. Отверженной. Проклятой. Я уже давно научилась читать и писать и обладала необычайной способностью складывать слова в истории, проникать в смысл сказанного на чужих языках, улавливать сокрытое, с легкостью держать в голове противоречащие друг другу идеи.

Мой отец, Матфей, главный писец и советник тетрарха нашего Ирода Антипы, говорил, что такие таланты более пристали пророкам и мессиям — тем, по чьему слову расступаются моря, кто строит храмы и вслушивается в глас Господень на горных вершинах, — или, раз уж на то пошло, любому обрзанному мужчине в Галилее. Только после долгих уговоров, когда я уже самостоятельно выучила иврит, он разрешил мне читать Тору. С восьми лет я постоянно выпрашивала новых наставников, свитки для чтения, папирус для письма и краску для смешивания собственных чернил, и отец часто уступал мне — то ли из страха, то ли по слабости, то ли из любви, не знаю. Мои стремления смущали его. Когда же ему не удавалась удержать их в узде, он предпочитал отшучиваться. Он любил повторять, что единственный мальчик в нашей семье — это девочка.

Конечно же, появление столь нелепого ребенка требовало объяснений. Отец предположил, что дело обстояло так: создавая меня из частей во чреве матери, Господь отвлекся и по ошибке наделил меня дарами, предназначенными какому-то бедному мальчишке. Не знаю, понимал ли отец, насколько оскорбляет Господа, перекладывая на него ответственность за этот промах.

Мать считала, что виновата Лилит, демоница с когтями совы и крыльями стервятника, которая охотится за новорожденными, чтобы убить их или, как в моем случае, осквернить, привив неестественные наклонности. Я явилась в этот мир во время злого зимнего дождя. Все повитухи, за которыми посылал мой отец, отказали даже ему, человеку весьма высокопоставленному. Обезумевшая мать корчилась в родильном кресле безо всякой помощи, и некому было облегчить ее страдания или защитить нас от Лилит особыми молитвами и амулетами. Так что пришлось Шифре, служанке матери, самой омыть меня вином, смешанным с водой, солью и оливковым маслом, спеленать и уложить в колыбель — отдать прямо в когти Лилит.

Рассказы родителей вошли в мою плоть и кровь. Мне и в голову не приходило, что я заслужила такие способности, что Господь неслучайно благословил меня этими дарами. Меня, Ану, девочку с копной непокорных черных кудрей и глазами цвета дождевых туч.

С соседних крыш доносились голоса. Где-то заплакал ребенок, заблеяла коза. Потом Йолта вытянула из-за спины узелок и принялась медленно, слой за слоем, разворачивать льняную ткань. Ее глаза вспыхивали огнем, когда она бросала на меня быстрые взгляды.

Наконец она извлекла содержимое свертка. То была известняковая чаша, сияющая и круглая, словно полная луна без малейшего изъяна.

— Я привезла ее из Александрии. Пусть будет твоей.

Когда тетя вложила чашу мне в руки, по телу у меня пробежала дрожь. Я провела ладонью по гладким бокам сосуда, широкому верху, завиткам на молочном теле камня.

— Тебе известно, что такое чаша для заклинаний? — спросила Йолта.

Я отрицательно покачала головой. Мне было ясно только одно: речь идет о вещи слишком могущественной, опасной или чудесной, которую можно являть миру не иначе как в темноте ночи на крыше.

— В Александрии мы, женщины, молимся с их помощью. Доверяем им самые сокровенные чаяния. Вот так. — Она опустила палец в чашу и вычертила спираль на стенках сосуда. — Каждый день мы возносим молитву, медленно вращая чашу, и тогда наши слова, раскручиваясь, оживают и устремляются к небесам.

Я смотрела на сосуд, не в силах вымолвить ни слова. Передо мной была вещь, полная великолепия и скрытых чар.

— На дне мы оставляем свой образ. Чтобы Господь точно знал имя просителя, — продолжила Йолта.

Я даже рот разинула. Тетя наверняка знала, что ни один правверный иудей и смотреть не станет на изображения человека или животного, а уж тем более — создавать их. Ведь сказано во второй заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли».

— Доверь свою просьбу чаше, — велела мне тетка, — но будь осторожна, потому что по желанию и воздастся.

Я уставилась в пустоту сосуда, и на секунду словно бы сам небесный свод, перевернутый звездный купол, наполнил его.

Когда я оторвала взгляд от чаши, Йолта пристально смотрела на меня:

— В святая святых мужской души сокрыты заповеди Господни, внутри же женской — одни лишь желания. — Она ткнула мне в грудь чуть выше сердца и произнесла слова, которые разожгли во мне пламя: — Запиши то, что внутри тебя, в твоей святая святых.

Я дотронулась до того места, которое только что ожило под рукой Йолты, и яростно заморгала, сдерживая нахлынувшие чувства.

Внутри Святая Святых Иерусалимского храма обитал наш единый истинный Господь, и нечестив был язык, который утверждал, что такое же место существует и внутри человека, и, хуже того, предполагал, что в мечтаниях, подобных моим, есть нечто божественное. Столь прекрасного и одновременно злостного богохульства мне еще не доводилось слышать, и в ту ночь я долго не могла заснуть от восторга.

Далеко за полночь, лежа на высокой кровати и ворочаясь на мягких разноцветных подушках, набитых соломой и перьями, кориандром и мятой, я сочиняла молитву, с трудом облекая в слова то огромное, что теснилось в моей душе.

Я проснулась еще до зари, прокралась на балкон, нависающий над помещениями первого этажа, и босиком, не зажигая лампу, скользнула мимо других спален, потом вниз по каменным ступеням, через портик вестибюля. Крадучись, я пересекла главный двор, ступая осторожно, точно по галечному полю, в страхе разбудить слуг, спящих неподалеку.

*Миква*, где мы совершали омовения согласно закону семейной чистоты, находилась в темной комнатке в подвале, куда можно было попасть только из нижнего двора. Я спускалась, держась за стену ладонью. По мере того как напор воды в трубе увеличивался и мрак рассеивался, проступали контуры бассейна. Я наловчилась совершать ритуальные омовения в темноте: я приходила сюда с самой первой менструации, как того требовала наша религия, но всегда ночью и в одиночестве, потому что до сих пор не сказала матери о наступлении женской зрелости. Вот уже несколько месяцев я закапывала окровавленные тряпки в огороде.

Однако на этот раз в *микву* привело меня другое: мне нужно было подготовиться, чтобы записать свое желание в чаше. Дело это было непростое, священное. Само движение пера пробуждало к жизни силы, часто божественные, однако же капризные, которые через начертанные буквы и сами чернила передавались далее. Разве благословение, вырезанное на талисмане, не охраняет новорожденного, а заклинание, высеченное на камне, не запечатывает могилу?

Я сбросила одежду и стояла обнаженная на верхней ступеньке. По обычаю, в воду входят в нижнем белье, но мне хотелось погрузиться нагишом, исключив любые преграды. Я молила Господа очистить меня, чтобы я могла записать свою просьбу без скверны в сердце и уме. Затем я шагнула в бассейн и ушла под воду, извиваясь, словно рыба, после чего вынырнула, задыхаясь.

У себя в спальне я облачилась в чистую рубашку, взяла чашу для заклинаний, письменные принадлежности и зажгла масляные лампы. Начинался новый день. Комнату заполнял неяркий голубоватый свет. Мое сердце превратилось в сосуд, готовый вот-вот переполниться.



Сидя на полу со скрещенными ногами, я выводила крошечные буквы внутри чаши остро заточенным тростниковым пером, которое окунала в черные чернила собственного изготовления. Целый год я искала наилучшую комбинацию ингредиентов, рассчитывала, сколько времени необходимо обжигать древесину, искала смолу, которая придала бы чернилам достаточную густоту, однако же не позволила бы им намертво приклеиться к перу, и в конце концов добилась своего: строки ровно ложились на камень, без потеков и пятен, сияя, словно оникс. Едкий, дымный запах чернил заполнил комнату. От него щипало в носу, на глазах выступали слезы. Я вдыхала его, словно фимиам.

О многом из того, что я втайне желала, я могла бы попросить: о путешествии в ту часть Египта, которая, благодаря теткинским рассказам, так живо представлялась моему воображению; о том, чтобы мой брат вернулся домой; чтобы Йолта никогда не покинула меня; чтобы однажды я вышла замуж за человека, который полюбит меня такой, какая я есть. Вместо этого я записала мольбу из самой глубины души.

Я выводила греческие буквы торжественно и чинно, словно строила маленькие чернильные святилища. Писать внутри чаши оказалось труднее, чем я предполагала, но я старательно украшала надпись в собственной манере: тонкий росчерк

вверх, толстый — вниз, хвостики и завитушки в конце предложений, точки и кружочки между словами.

Снаружи доносилось ритмичное поскрипывание прессы, которым наш слуга, шестнадцатилетний Лави, давил оливки. Этот звук эхом отражался от мощенного камнем двора, а когда он смолк, голубка на крыше заявила миру о себе негромким воркованием. Маленькая птичка придала мне сил.

Солнце разгоралось, и розовое золото облаков постепенно бледнело. В доме не было ни малейшего движения. Йолта редко просыпалась до полудня, однако Шифра к этому часу обычно уже приносила мне жареный хлеб и тарелку инжира. Да и матери пора было заглянуть ко мне. Она наверняка нахмурилась, заметив чернила, и упрекнет меня в том, что приняла столь дерзкий подарок, а Йолту — что осмелилась без спросу вручить мне чашу. Интересно, что задержало поток ее ежедневных нравоучений?

Почти закончив записывать желание, я погрузилась в размышления о матери, а заодно и о брате. Иуда не показывался уже несколько дней. В двадцать лет ему пора было остепениться и найти себе жену, однако же он предпочитал якшаться со смутьянами, восставшими против Рима, чем доводил отца до бешенства. Иуда и раньше пропадал с зелотами, но никогда так надолго. Каждое утро я надеялась, что услышу в передней тяжелые шаги и брат, голодный и измученный, примется сокрушаться из-за беспокойства, в которое нас вверг. Впрочем, Иуда не имел обыкновения каяться. А ведь на этот раз все было серьезно, и каждый из нас это понимал, хотя никто и словечка не проронил. Мать, как и я сама, боялась, что он все-таки окончательно решил присоединиться к Симону бар-Гиоре, самому яростному фанатику из них всех. Ходили слухи, что его